

Я УНЕС РОССИЮ... Минувшее глазами эмигрантов



МАРИЯ ФОН БОК

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ОТЦЕ П.А. СТОЛЫПИНЕ



Я унес Россию... Минувшее глазами эмигрантов

Мария фон Бок

**Воспоминания о моем
отце П.А. Столыпине**

«ЭКСМО»

фон Бок М. П.

Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине / М. П. фон Бок — «Эксмо», — (Я унес Россию... Минувшее глазами эмигрантов)

Нет, наверное, в политической истории России начала XX в. более крупного государственного деятеля, чем Петр Аркадьевич Столыпин. Просвещенный бюрократ, не искавший карьерных перспектив, он оказывался на высоких постах вопреки своему желанию. Убежденный монархист и радикальный реформатор. Прогрессист и просветитель в глазах одних – и махровый реакционер для других. Государственник, всеми силами пытавшийся предотвратить «великие потрясения», но так и не сумевший этого сделать. Вспоминая отца, старшая его дочь Мария фон Бок (1886–1985) перемежает лиричные семейные истории тревожными и горькими рассказами о судьбе страны, вступавшей в один из самых драматичных периодов своего бытия. Книга также издавалась под названием "Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. 1884-1911".

© фон Бок М. П.

© Эксмо

Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	9
Глава III	11
Глава IV	12
Глава V	16
Глава VI	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Мария фон Бок

Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине

© Издание, ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

«Родина... требует себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу».

П.А. Столыпин

«Иногда мы просто разговаривали: часто говорили про про– / читанное или папа, всегда охотно, отвечал на все вопросы... или сам рассказывал мне что-нибудь. И теперь, через тридцать с лишком лет, когда я вспоминаю эти вечера, становится тепло и светло на душе, укрепляется вера в людей, в смысл жизни, в призвание человека жить для блага ближнего».

Мария фон Бок

Часть первая

Глава I

Мне три года, и я больна. Я лежу в своей кроватке в моей большой полутемной детской: лампа потушена, двери закрыты, и лишь перед иконами мерцает лампада. Меня уже уложили на ночь, дали выпить какой-то вкусный чай – не то липовый, не то яблочный – вместо ежедневного молока. Заходила перекрестить и поцеловать меня на ночь мамá, и, в виде исключения по случаю болезни, приходил и папá. Сердце радостно забилося, когда издали услышала я его ровные, неторопливые шаги, а когда он, наклонившись надо мной, положил на мой горячий лоб свою большую, мягкую, свежую руку – так сделалось хорошо, что и боль, и скучный день без беготни – все было забыто. Папá бережно подогнул край одеяла, перекрестил меня и, стараясь ступать легко, вышел из детской.

Осталась няня: толстая, старая, добрая няня Колабина. Мне не спится, и я смотрю, как она в своих мягких байковых туфлях хлопотливо и грузно ходит по комнате, прибирая то забытую игрушку, то рюмочку от лекарства. Милая няня Колабина все время бормочет себе под нос что-то довольно невнятное про молодых родителей, которые любят одевать своих детей «по-модному», в носочки да в легкие короткие платица, не то чтобы послушать старуху няню и связать ребенку толстые шерстяные чулки. «Вот дите и больное».

По правде сказать, болезнь довольно приятная, и я чувствую себя счастливой и очень важной тем, что обо мне так много хлопочут: и блюда готовят особенные и, когда я не хочу есть, не бранят, а уговаривают, да и лекарства вкусные. Главное из них розовое и сладкое, и папа называет его «лекарством медицина». Это, пожалуй, просто ипекакуан, которым меня и впоследствии часто лечили, но я не хочу верить этому, и то лекарство, которое мне так часто, когда я была маленькой, давал с ложечки мой отец, мне до сих пор кажется чем-то особенным.

Но вот няня подошла ко мне и сказала: «Матинька, а ты не спишь? Ну полежи себе тихо, спокойно, не смей прыгать в кроватке, я сейчас вернусь, надо только на кухню сходить». Тут мне и пришла в голову преступная мысль, которая сразу и была приведена в исполнение. Только лишь заглохли нянины шаги, как я в рубашке и босая (что и здоровой запрещалось) выпрыгнула из постели и пробежала во всю прыть до противоположной стены детской и обратно. Когда няня вернулась, я спокойно и невинно лежала под одеялом и лишь старалась скрыть от нее, как быстро я дышу и как горят мои щеки.

Это первое воспоминание моей жизни. И надо же, чтобы это было как раз воспоминание о непослушании, между тем, как я была, кажется, впоследствии очень спокойной и послушной девочкой. Но чувство, как я с бьющимся сердцем бегу в темный угол комнаты, навсегда запечатлелось в моей душе.

Няня Колабина оставалась при мне до четырехлетнего возраста. Помню я ее очень ясно, но думаю, что много здесь помогли рассказы моей матери и фотографии. Помню, например, удивительную песню, которую я пела за ней.

Эта торба не простая,
Эта торба с пирожками,
Пирожки-то не простые,
Пирожки-то с червячками.

И еще:

Два сержанта из окна
Любовались на кота.
Они хлопнули окном,
Побежали за котом.

Но помню также, как она меня учила, что данное слово святыня, что не сдержать его большой грех, и подкрепляла свои слова поговоркой (не знаю, ей ли выдуманной): «Мое слово – господин» и объясняя при этом, что «ты, мол, не властна, раз дала его, преступить его, как я вот не властна сделать чего-нибудь, чего не велят мои господа, твои мама и папа».

Эти первые годы моей жизни мало оставили, конечно, следа в моей памяти, и я точно помню только, что всегда была со мной моя няня, а иногда папа и мама.

Мой отец женился очень молодым, и когда делал предложение моей матери, боялся даже, не послужит ли его молодость помехой браку, о чем и сказал дедушке, прося у него руки его дочери.

Но дедушка, улыбаясь, ответил: «La jeunesse est un défaut duquel on se corrige chaque jour» (Молодость – это недостаток, который исправляется каждый день) и спокойно и радостно отдал свою дочь этому молодому студенту, зная отлично, что лучшего мужа ей не найти. Моему отцу тогда не было еще двадцати двух лет, и он кончил университет уже после свадьбы, даже уже когда я была на свете. Часто потом мои родители вслух при мне вспоминали этот первый год своей счастливой супружеской жизни. Когда я была старше, мой отец сам рассказывал о том, какой редкостью был в те времена женатый студент и как на него показывали товарищи: «Женатый, смотри, женатый». Когда сдавались последние экзамены, мама, волнуясь больше папа, сидела в день экзаменов у окна, ожидая его возвращения.

Подходя к дому, мой отец издали подымал руку с открытыми пятью пальцами, значит, опять пять. Кончил он естественный факультет Петербургского университета, и экзаменовал его, наряду с другими, сам Менделеев. На одном из экзаменов великий ученый так увлекся, слушая блестящие ответы моего отца, что стал ему задавать вопросы все дальше и дальше; вопросы, о которых не читали в университете, а над решением которых работали ученые. Мой отец, учившийся и читавший по естественным предметам со страстью, отвечал на все так, что экзамен стал переходить в нечто похожее на ученый диспут, когда профессор вдруг остановился, схватился за голову и сказал: «Боже мой, что же это я? Ну, довольно, пять, пять, великолепно».

Первые годы мои родители провели в Петербурге, где мой отец, по окончании университета, служил в статистическом отделе министерства земледелия.

Кроме родителей и няни, я помню только еще одно лицо: Аграфену, старушку из крепостных, прислуживавшую моему отцу в его холостые, студенческие годы. Она изредка приходила навещать нас, и я хорошо запомнила ее посещения, потому что на меня всегда производило сильное впечатление, как мой отец держался с ней. Он ее сажал, просто и сердечно, как с равной говорил и целовался при встрече. Потом про нее рассказывали, когда подавался заяц: «А вот Аграфена ни за что не сжарила бы зайца, так как твердо верила в то, что у него «семь шкур», которые она никак снять не сумеет». Долгие годы интриговали меня эти семь заячьих шкур!

Ко времени, о котором я пишу, т. е. к 1884–1889 годам, относится близкое знакомство моих родителей с поэтом Апухтиным, прелестные стихи и проза которого теперь, к сожалению, слишком мало известны молодому поколению. Много мне о нем впоследствии рассказывали, и одно время в моей классной комнате стояло кресло, называвшееся «апухтинским», так как оно было у нас единственное, на которое Апухтин мог садиться. Кресло это было исключительной ширины, удобное для поэта, знаменитого своей необыкновенной толщиной. И то раз, вставая, он поднял его вместе с собой! Глядя на это кресло, всегда мне вспоминались строки Апухтина:

Жизнь пережить – не поле перейти!
Да, жизнь трудна, и каждый день трудней,
Но грустно до того сознания дойти,
Что поле перейти мне все-таки трудней.

У моего отца, когда он еще был студентом, был кружок наиболее близких друзей, к которым часто присоединялся и Апухтин, хотя был он многим старше большинства из них.

Собиралась молодежь мыслящая, интересующаяся всеми жизненными, захватывающими ум и душу вопросами, жившая прекрасными и высокими идеалами. Благодаря посещениям людей типа Апухтина кружок этот приобрел в Петербурге такую славу, что многие представители петербургского света, часто люди уже зрелые, стали не только стараться попасть в это общество, но даже заискивали перед ним.

И после женитьбы моего отца Апухтин стал бывать в нашем доме. Читал он у нас в рукописи свое знаменитое «Письмо». Он даже спрашивал, читая стих:

«Склонив головку молодую
И приподняв тяжелое драпри»,

совета, чем заменить слово «драпри», которое он находил претенциозным, но так и не нашел другой рифмы к «зари».

Глава II

Вот то небольшое, что я запомнила сама и что знаю по рассказам старших из нашей жизни в Петербурге, до назначения моего отца предводителем дворянства Ковенского уезда. Мне было четыре года, когда мы переехали в Ковну, но я ничего не помню ни об отъезде, ни о приезде туда, разве лишь то, что я в вагоне спала на верхней койке и говорила, что лежу на «полочке». Мне было очень весело до того момента, как вдруг, через испорченный вентилятор вагона, стал на меня идти снег. Мама покрыла меня своей шубой, а папа, при первой остановке, пошел жаловаться на неисправность вагона.

В Ковне мы поселились в старом городе, против ратуши. Дом этот и сейчас стоит там, рядом с разрушенным германскими снарядами во время Мировой войны домом архиерея. Этот дом был настолько неудобен и настолько далек от теперешних понятий о комфорте, что моему отцу приходилось, например, из спальни ходить одеваться в свою уборную через двор, надев на халат пальто.

Первое время была при мне еще няня Колабина, с которой я ходила гулять на близлежащую набережную Немана. С самого раннего детства знала я, в каком месте Наполеон перешел со своей армией Неман и в каком доныне стоящем на набережной доме он в 1812 г. останавливался. Высота набережной, дома, горы на противоположном берегу в Алексотах, пароходы на Немане – каким все это казалось мне огромным и прекрасным, когда я гуляла по Ковне, держа за руку няню, и каким маленьким и незначительным показалось мне это, когда я, после долгих лет, уже замужем снова попала туда.

Алексоты (предместье Ковны по другую сторону Немана) находились уже в Сувальской губернии, где, как и во всем Царстве Польском, был введен новый стиль. В Ковне по этому случаю задавалась загадка:

«Какой самый длинный в мире мост?» Следовал ответ:

«Неманский, потому что через него надо проезжать 12 дней».

Моего отца я мало помню в эти годы. Знаю лишь, что он, как и всегда, много работал, очень интересовался своей службой и, благодаря своей энергии и любви к делу, оживил ее новым, животворным дыханием. Впоследствии сам он мне не раз говорил о том, насколько интереснее и разнообразнее работа уездного предводителя дворянства, нежели губернского. Последний может, если сам себе не создаст работы, сидеть сложа руки, ограничивая свою службу приемами дворян, обедами, и вообще лишь необходимым представительством. Такую чисто декоративную роль играл предшественник моего отца граф Зубов, один из крупнейших помещиков Ковенской губернии. За долгие годы своего пребывания на этом посту граф Зубов всегда лишь наездами показывался в Ковне, проводя время в одном из своих многочисленных имений.

Моя мать, попав в провинциальный город впервые, чувствовала себя сначала в Ковне очень неуютно и скучала. Потом, когда она обжилась, познакомилась с ковенским обществом, в котором оказалось много милых людей, она очень полюбила Ковну и до сих пор любит вспоминать проведенное там время, как один из счастливейших периодов в своей жизни. Но тогда ей, молодой светской женщине, многое казалось смешным и скучным в тихой провинциальной глуши, после Петербурга и Москвы.

Случались, действительно, очень забавные инциденты, рассказ о которых может теперь показаться анекдотом. Мой отец говорил моей матери, что нужно стараться составить себе кружок знакомых, приглашать к себе, развлекать, принимать общество. Послушная во всем своему мужу, мама, при первом показавшемся ей удобном случае, обратилась к какому-то господину, представившемуся ей, совсем не разбиравшейся в губернской иерархии, очень важной шишкой, с приглашением прийти на «чашку чая», на что последовал в высшей степени неужи-

данный ответ: «Нет, спасибо, не приду». И еще неожиданное прозвучало объяснение в ответ на вопрос моей матери: «Почему же?» – «Да так, знаете, что-то не хочется». Потом оказалось, что это был исправник, из кантонистов, понявший, что приглашение сделано по неопытности, но не умеющий облечь свой отказ в более светскую форму.

Поступил к нам в то время лакей Казимир, нигде еще не служивший молодой парень, только что отбывший воинскую повинность. Потом он долгие годы служил у нас и умер в нашем доме, когда мой отец, уже министром, жил в Елагином дворце в Петербурге. Но в то далекое время он был абсолютно еще не отесан, и моим родителям много пришлось поработать над его воспитанием. В самом начале своей карьеры Казимир очень отличился. Ему было как-то приказано «не принимать» гостей, говоря «дома нет». Звонок. Кабинет рядом с передней, и мой отец, сидя за письменным столом, видит, к своему ужасу, через открытую дверь отражающуюся в зеркале картину: господин входит в переднюю, а Казимир молча, ласковым движением, берет его за плечи, поворачивает и тихонько выталкивает на улицу.

Моему отцу, конечно, не оставалось ничего другого, как вскочить, догнать изумленного визитера и, с извинениями, вернуть его, тогда как Казимир, качая головой, дивился барским причудам: то, мол, велят не принимать, то сами войти просят!

Глава III

Патриархальные нравы царили в милой Ковне 90-х годов прошлого столетия, и внешний облик города как нельзя лучше подходил к уютной жизни его обитателей.

По бокам улиц тянулись деревянные тротуары, а рядом с ними текли ручейки грязной воды, через которые были перекинуты слегка горбатые мостики. Зимой по замерзшим ручейкам лихо носились на одном коньке уличные мальчишки. Как я им завидовала! И как досадовала на Эмму Ивановну, немку, сменившую няню Колабину, за то, что она, по непонятным мне тогда причинам, не позволяла присоединиться к ним. Улицы были мощены поразительно выпуклыми булыжниками, по которым тряслись и немилосердно шумели дрожки гарнизонных офицеров, большинство еще без резиновых шин. Так же тряслись и красные, как бифштекс, щеки полковника Пыжова, когда он, к радости моей и всех гуляющих по бульвару, сам объезжал в шарабане вороного своего жеребца.

Все были знакомы друг с другом, если не лично, то все же знали, кто это, и появление нового лица на улицах возбуждало толки и пересуды. Когда брали извозчика, тот спрашивал: «Домой прикажете или в гости изволите ехать?»

Лавочки были маленькие, убогие, и выставленные в окнах товары стояли там месяцами, покрытые густым слоем пыли.

Веселье в уличную жизнь вносили солдаты, часто проходившие по городу с музыкой, и еще больше парады на Соборной площади в торжественные дни высочайших праздников.

Из дома в старом городе, где мы поселились сначала, мы скоро переехали в маленький деревянный домик с большим садом на одной из боковых улиц центральной части города. Улица эта вообще не была мощена, и по городу ходил анекдот, что когда кто-нибудь нанимал извозчика, чтобы ехать к нам в осеннее или весеннее время, тот отвечал: «Если к Столыпиным желаете, лодку нанимайте, а не меня». И я хорошо помню громадную лужу перед нашими окнами.

Тогда я еще была единственным ребенком моих родителей и пользовалась нераздельными их ласками. Очень я также полюбила старушку Эмму Ивановну, добрейшую и ворчливую, вынянчившую двоюродных братьев и сестер моей матери и носившую когда-то и ее на руках.

Самым чудным временем дня были вечерние часы, после обеда, когда можно было пойти в кабинет, влезть на мягкую оттоманку, прижаться к папа и слушать чудные сказки, которые он рассказывал. Сказки эти меня интересовали еще много лет спустя, когда они рассказывались моим маленьким сестрам. Были они так занимательны, что моя мать, с работой в руках, тоже всегда приходила их слушать. Да как было и не увлечься приключениями «Девочки с двумя носиками» (это для самых маленьких) или жизнью детей в «Круглом доме»?

Весь день мой отец был занят: то работал у себя за письменным столом, то был в присутствии, то на заседаниях. Кабинет был для меня с раннего детства святая святых. Даже в комнате, рядом с кабинетом, мне бы никогда не пришло в голову говорить не шепотом. Ко всякому делу папа относился с исключительным вниманием и уважением. Помню, как мой отец возмущился, когда приехавший неожиданно к нам старый дядя моей матери, граф Буксгевден, нарушил происходившее под председательством папа заседание.

Глава IV

Кроме текущей предводительской работы, у папа было все время стремление создавать что-нибудь новое. За его службу в Ковне, сначала в должности уездного, а затем губернского предводителя дворянства, многое им было проведено в жизнь и многое начато. Любимым его детищем было Сельскохозяйственное Общество, на устройство которого он положил много времени и сил и работа которого вполне оправдала его надежды. Был при нем склад сельскохозяйственных орудий, устройство которого особенно увлекало папа. Молодой, энергичный и деятельный, мой отец рьяно принялся за работу с первого же дня своей службы и до последнего дня с тем же интересом предавался ей, кладя все свои силы на то, чтобы в своей сфере создать все, от него зависящее, для процветания края. Кроме Сельскохозяйственного Общества и склада по его почину был построен в Ковне Народный дом, и много времени он проводил там, следя за устройством ночлежного отделения, чайной, за правильной постановкой чтения для рабочих и народа вообще; за устройством представлений и народных балов. Мои родители всегда ездили на эти представления и, помню, с каким энтузиазмом они рассказывали о первом представлении кинематографа, об этих «удивительных движущихся картинах». И моя гувернантка, и я слушали, не веря ушам, как в этом новом «волшебном фонаре» ясно видно, как дети дерутся подушками, видны их движения, виден летающий по воздуху пух, вырывающийся из лопнувшей подушки.

Но вообще вечера, когда родители уезжали из дома, были редки. Кроме посещения нескольких представлений за зиму в Народном доме, они изредка бывали в городском театре, но почти исключительно на гастролях проезжавших через Ковну знаменитостей. Ковна лежала по дороге из Петербурга в Берлин, и случалось, что ездившие в турне артисты оставались на один, два дня у нас, и тогда, конечно, маленький ковенский театр бывал битком набит публикой.

Еще реже случалось, чтобы папа и мама проводили вечера в гостях, у нас же близкие знакомые и друзья бывали часто. Приходили они поздно; сразу же после обеда мой отец всегда уделял часок нам, детям. Сначала я одна слушала сказки, о которых я уже упоминала, а потом и сестры, понемногу подраставшие, уютно усаживались вокруг папа на оттоманке в кабинете. После сказок, игр и разговоров их посылали спать, а папа садился за письменный стол: что-то писал, что-то подписывал. Приходил секретарь с бумагами и долго, стоя рядом со столом, о чем-то мне непонятном докладывал и клал перед папа бумаги для подписи. Годами помню я ту же картину по вечерам: мой отец за письменным столом, моя мать на диване с работой. Иногда кто-нибудь из друзей рядом с ней. Ведется общий разговор, в который изредка вставляет свое слово папа, повернувшись на своем стуле с круглой спинкой. Потом, когда Казимир приносит вечерний чай, папа пересаживается к остальным и, если есть гости, то разговаривают до десяти, одиннадцати. Если же мои родители одни, то читают вслух друг другу, а ровно в одиннадцать идут спать. Так были прочтены почти все исторические романы Валишевского, так читалось «Воскресенье» Толстого, когда оно печаталось в «Ниве», и многое другое из русской, французской и английской литературы.

Эти уютные вечера я помню с самого детства моего до 1902 года, когда папа был назначен Гродненским губернатором и когда уклад всей нашей жизни резко изменился.

Из маленького домика на Лесной улице в 1892 году мы переехали в большой дом на Соборной площади, в котором занимали сначала одну часть второго этажа, а потом, по мере рождения детей, прибавлялось по комнате, и нами постепенно был занят весь этаж.

Сразу же после обеда, до того, чтобы перейти уже на весь вечер в кабинет, мама садилась к своему письменному столу в гостиной, являлся повар и приносил счета и меню на следующий день. Счета эти составляли мучения моей матери, всегда до щепетильности аккуратной, но

очень плохой математички: как-то выходило, что вечно копейки сходились верно, а рубли нет, и то и дело призывался на помощь папа, который с улыбкой садился за приходорасходную книгу, проверял итог и, поправив все дело, уходил снова к себе.

Двери были все открыты, кроме редких случаев, если был кто-нибудь вечером у папа по делам, и я, сидя за приготовлением уроков в столовой, с интересом слушала, что-то будет завтра к завтраку и обеду, и от души смеялась, когда папа вмешивался в этот хозяйственный разговор. Стоит, например, старый повар Станислав, а мама говорит ему:

– Что ты все котлеты даешь, дай завтра курицу.

– Курицу, – глубокомысленно повторяет Станислав, – курицу купить надо.

– А ты попробуй, укради, – раздается голос папа из кабинета. Мама весело смеется, а Станислав, не понимая шутки, с недоумением смотрит на дверь.

Обедали в те времена в шесть часов и лишь под самый конец ковенской жизни в семь, так что вечера были длинные.

Завтракали в половине первого. После обеда взрослые пили кофе за столом, а детям разрешалось встать. Когда мама кто-нибудь дарил конфеты, они хранились у папа в письменном столе, и мы получали после обеда по одной конфетке.

– Ну, дети, бегите в кабинет за конфетами, – говорит мой отец, а моя маленькая сестра Олечек вдруг громко с чувством восклицает:

– Папа, как я вас люблю!

– Только за конфеты и любишь? – говорит, смеясь, папа.

– Нет, тоже и за подарки, – говорит Олечек, глядя своими честными детскими глазами прямо в лицо отца.

Долго ее, бедненькую, дразнили этой фразой. Так и протекли мирно и счастливо двенадцать лет нашей жизни в Ковне. Ежегодно: пять месяцев в Ковне и семь месяцев в Колноберже, нашем имении Ковенской губернии. И эти годы мой отец всю свою жизнь вспоминал с самым теплым чувством, как и всех своих сослуживцев, подчиненных и помощников по Сельскохозяйственному Обществу, одинаково как русских, так и поляков.

Училась я дома, сначала с моей матерью и гувернантками, потом с учительницами, приходившими к нам на дом и о приходе которых Казимир докладывал: «Мария Петровна, мучительница пришла», а потом и с учителями Ковенской гимназии. С третьего класса я стала сдавать при гимназии экзамены, и мои родители с большим вниманием следили за моими уроками, справляясь ежедневно у учителей о моих успехах и внимании и часто сами присутствовали на уроках. Я училась в комнате рядом с кабинетом папа. Когда он бывал дома, то всегда открывал двери, чтобы слышать урок.

А из арифметических задач, заданных в виде домашних работ, я, кажется, никогда ни одной не решила без помощи папа. Промучившись целый час над бассейном, наполняющимся через две трубы, одну широкую, другую узкую, или над тем, сколько сделает в данное время поворотов большое колесо и сколько маленькое, идешь с тетрадкой и задачником Малинина и Буренина к папа, зная, что, если только он не занят экстренной работой, то отложит в сторону бумаги или книгу, возьмет твою тетрадь, испачканную десятком неправильных решений, и ласково скажет:

– А ну-ка, давай подумаем вместе.

Иногда сразу же удавалось решить задачу, но бывало и так, что папа решит ее тотчас же в уме, посмотрит ответ – верно, а объяснить мне никак не может:

– Алгебраически я тебе сразу объясню, – говорит папа, – а как это делается арифметически, надо подумать.

Я шла готовить другие уроки, а папа, найдя ясное и точное объяснение, звал меня.

А раз было так. Помню, что дело шло о цене коляски и дрожек. Папа просидел над этой задачей довольно долго, послал меня спать, а утром я нашла на своем столике бумагу, на которой красиво и четко была написана решенная задача, а в конце стояла приписка:

«Остается нерешенным вопрос, где продаются такие дешевые экипажи?»

Должна сознаться, что я всегда честно каялась учителям в том, что задачи решаю не одна. Учителя были все очень хорошие, и уроки всегда интересны, только несчастная математика с Аароновым очень уж приходилась мне не по душе и предмет нелюбимый, мало понятный и сухой, и учитель менее других умеющий внушить любовь к науке. И в гимназии Ааронова тоже не любили, и ученики всегда с злорадством представляли, как он задает задачу, а потом, углубившись в нее, говорит:

– Ну, это трудновато, я вам завтра объясню.

На следующем уроке, когда его спрашивали про эту задачу, он говорил:

– Задача неинтересна, возьмете другую.

Раз мои родители увидели его в театре Народного дома, и когда на следующий день он пришел ко мне на урок, папа спросил его, понравилось ли ему там? На это Ааронов ответил, что представление то хорошее, но публика плоха, и что он там «подвергся оскорблению Товия». Мы так и не поняли, что это значит, и как-то стеснялись показать свою необразованность и спросить объяснения. Долго эта фраза оставалась для нас загадкой, пока, наконец, кто-то из знакомых не сумел объяснить, что Товий, по Библии, был оплеван народом. После этого инцидента бедный наш математик окончательно упал в глазах своих учеников, которые, вместо того чтобы пожалеть, подняли его на смех.

Но зато другие учителя, особенно преподаватель русской словесности, были очень хороши, и я с удовольствием ждала уроков.

К весне уроки делались труднее, учителя взыскательнее, чувствовалось приближение экзаменов. Но, несмотря на это, училось легче, все казалось интереснее и значительнее, когда начинало пригревать солнце, позже зажигались лампы, и все ближе и ближе придвигался день переезда в Колноберже.

А когда Казимир первый раз настезь открывал замазанные на зиму окна и комнаты вечером вдруг наполнялись торжественным гулом большого соборного колокола и сладким запахом тополей, становилось на душе так светло, что и экзамены не пугали, и вся жизнь представлялась радостным праздником.

Ко всенощной я ходила почти всегда с матерью, а к обедне с отцом. После же обедни каждое воскресенье папа ходил покупать со мной в кондитерскую угощение на «танц-класс». Модные кондитерские были в то время – Перковского и «Ренессанс». Рассказывали, одна девочка в гимназии на вопрос учителя, как называется еще иначе эпоха Возрождения ответила: «Перковский» вместо «Ренессанс».

У Перковского покупателю давались бумажные салфеточки со стихами, приводившими в восторг папа и начинающимися так:

Когда теснится в сердце грусть,
Когда гнетет тебя сомненье,
Когда карман твой лишь не пуст,
Ты у Перковского забвенье
В его кондитерской найдешь,
Душе покой там обретешь.
Чего, чего там только нет.
Каких bonbons, каких конфект
Торт...

И следовал длинный перечень (все в стихах) всевозможных изделий кондитерского искусства, весьма разнообразных и весьма многочисленных. Папа очень забавляло нарочно спросить какое-нибудь печенье с замысловатым названием из поименованных на бумажке, но так и не удалось поймать приказчика: немедленно приносились и торт «Фантазия», и все, что было указано в стихах.

После завтрака мы шли переодеваться, а ровно в три часа из столовой, где Казимир уже успел отодвинуть стол к стене, доносились звуки рояля. Тапер играл «шаконь» или «падапатенер» (так был обозначен модный тогда «Pas de patineur» в программе учителя танцев Лейкинды). Сам Лейкинд, во фраке, ходил по комнате и ждал учеников, которые скоро и являлись. Девочки в легких платьицах, мальчики в матросках и гимназических мундирах становились в ряд и сначала изучали «позиции», а потом танцевали. Родители сидели с мамой тут же за чайным столом. Раз два за урок заходил посмотреть на нас и папа. А однажды, когда у нас гостили дядя Сергей Дмитриевич и тетя Анна Борисовна Сазоновы, и собралось много народу, неожиданно организовался целый бал. Танцевали все родители, а Лейкинд с вдохновением носился по зале, дирижируя настоящим балом.

На второй день Пасхи мама устраивала детский бал, на котором мы танцевали уже без Лейкинды выученные за зиму танцы. Один раз кто-то из нас, детей, накануне Пасхи заболел гриппом. Зараза мигом перекинулась на других, и ко дню бала были больны не только все пятеро детей, но и папа, и гувернантка, и часть прислуги. Одна почти никогда не болевшая мама была и тут здорова. Надо было срочно писать отказы всем приглашенным. Мама сидит за своим письменным столом в гостиной. Папа лежит в кабинете на оттоманке. Когда мой отец бывал простужен, у него сразу подымалась температура и все время, даже при легкой простуде, он то спал, то находился в полубытьи. Когда же он просыпался, то шутил и старался быть веселым. Мама громко говорит: «Вот скучно писать эти карточки... и ведь надо стиль варьировать», а папа, очнувшись на минуту из полудремоты, тут же отвечает:

– А ты не старайся так, а напиши всем одно и то же, но в стихотворной форме, могла бы даже дать напечатать. Например так:

Плохи делишки,
Больны детишки,
И детский бал
Совсем пропал!

Глава V

Вскоре после Пасхи начинались сборы в Колноберже. Переезды наши из Ковны в деревню были всегда очень сложны, хлопотливы, оживлены, утомительны для мамы и веселы для детей.

Пока я была одна или нас было всего двое, трое, ничего трудного не было, но с увеличением семьи в таком путешествии увеличивались и хлопоты. Когда же, под конец нашей жизни в Ковне, нас уже было пять сестер, то переезжали мы сам двадцать.

Кучер Осип, переезжавший также на зиму в Ковну, уезжал заранее с каретой, чтобы встретить нас на станции в Кейданах. Все же остальные – вся семья, гувернантки, прислуга – ехали до вокзала в целом, нарочно для этого нанятом вагоне конки. «Парк» конок был рядом с нашим домом, и мы веселой гурьбой, с дорожными мешками, пакетами и корзинками, наполнив собой целый вагон конки, из которого пересаживались на вокзале в железнодорожный вагон «микст», нанятый также целиком папа. В первом классе устраивалась семья с гувернантками, няней и кормилицей младшей сестры, а во втором классе – прислуга. Так ехали мы от Ковны до Кейдан – всего шестьдесят верст – девять часов времени, простаивая долгие часы в Кошедарах, узловой станции, где вследствие несогласованности поездов все пассажиры были обречены на долгие ожидания.

Мой отец, проводивший летом половину недели в Ковне, всегда шутя говорил потом, что половину времени своей службы предводителем он провел на кошедарском вокзале.

Мы же детьми эти Кошедары очень любили. Заранее письменно заказывался в станционном буфете завтрак, и все, что там подавалось, казалось нам, детям, необычайно вкусным. Долгие годы спустя, когда где-нибудь какое-нибудь блюдо нам очень нравилось, мы говорили: «Совсем как в Кошедарах». Это была высшая похвала.

Встречал нас в буфете владелец его, Бодиско, на которого я смотрела с удивлением, благоговением и завистью, как на некоего Гарун аль-Рашида по богатству и могуществу. Он подходил к стойке, выбирал несколько коробок конфет и, ничего не платя, раздавал их нам. Все ведь это было его собственное! Это ли не счастье?

В Кейданах нас встречали: батюшка, отец Антоний Лихачевский, доктор, Иван Иванович Евтуховский, следователь, мировой посредник – словом, все кейданские знакомые. Первые два были старыми друзьями и знали еще дедушку, когда он жил в Колноберже.

А перед вокзалом ждала целая вереница экипажей и телег. Не сразу удавалось всех рассадить и устроить. По несколько раз пересчитывался ручной багаж... всегда чего-нибудь не хватало...

Наконец все расселись, все уложено и, мерно покачиваясь на мягких рессорах, первая двинулась карета, запряженная четверкой цугом, с мамой, кормилицей и младшим ребенком, с кучером Осипом, в цилиндре и с длинным бичом, на козлах. За ней следует коляска с папой, если он переезжает с нами, и старшими детьми, а дальше «курдянка», «нытычанка», «тележка», и последней проезжает нагруженная сундуками и корзинами телега, подпрыгивая по мостовой станционного двора.

Выехав на большую дорогу, мы сразу охвачены такой тишиной, так пьянит ароматный весенний воздух, и так переполнена душа щемящим, до боли сладким чувством счастья, что не знаешь сама – смеяться или плакать, и, растерянно, блаженно улыбаясь, со слезами на глазах смотришь вокруг.

А кругом тебя все такое родное, милое, бесконечно любимое. Вот дремучий Бабянский лес, вот домик столяра Мейера, вот имение Комаровского с красивыми хозяйственными постройками; а вот там, вдали, виднеется по левую сторону дороги наша Марьиная роща.

Значит, Колноберже близко, значит, сейчас мы дома! Дома на длинные летние месяцы. Экзамены и учителя позади, а впереди ряд светлых, теплых дней, прогулки, купанье в Невяже, свидание со всеми любимыми обитателями Колноберже – людьми и животными.

Меня охватывает такое глубокое чувство счастья, что, как бы ища поддержки, смотрю на папа. Понимают ли взрослые, что у меня на душе и чего я сама понять не могу?

Но только взглянула, сразу вижу – да, понимает. И не только понимает, но и сам чувствует то же. Папа ласково, нежно улыбается, смотрит на меня, треплет по щеке своей красивой белой рукой и тихо говорит:

«А хорошо в деревне, Матя. Тишина-то какая! Воздух до чего чист! Жаль всех тех, кто в Ковне сидит – вонь, духота, пыль. А мы сейчас с тобой к парникам пойдем, посмотрим, есть ли огурчики свеженькие?»

Около въездных ворот в усадьбу, украшенных, по случаю нашего приезда, зеленью и флагами, стоят, выстроившись в два ряда, наши рабочие: с одной стороны – мужчины, с другой – женщины. Этого папа не любит: он враг всякой театральности вообще, а тут люди сошлись по приказанию управляющего.

– И к чему отрывать их от работы, а женщин от домашнего хозяйства? – говорит папа, недовольно морщась, Оттону Германовичу. Но управляющий, Оттон Германович, послушный и исполнительный во всем остальном, в этом никак не может отказаться от раз заведенного обычая. Как же это, господа приехали, а их рабочие не встретят с честью? Не годится это. И на следующий год повторяется то же самое.

Глава VI

Колноберже было получено дедом моим, Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, за карточный долг. Его родственник Кушелев, проиграв ему в яхт-клубе значительную сумму денег, сказал:

– Денег у меня столько сейчас свободных нет, а есть у меня небольшое имение в Литве, где-то около Кейдан. Я сам там никогда не был. Хочешь, возьми его себе за долг?

Так и стало принадлежать нашей семье наше милое Колноберже, унаследованное потом моим отцом.

Были у моих родителей другие имения и большие по размерам и, быть может, более красивые, нежели Колноберже. Но мы, все дети, их заглазно ненавидели, боясь, что вдруг папа и мама заблагорассудится ехать на лето в Саратовскую, Пензенскую, Казанскую или Нижегородскую губернию, что мне и моим сестрам представлялось настоящим несчастьем. Было у нас еще имение в Ковенской же губернии на границе Германии, куда, за отсутствием в той местности нашей железной дороги, папа ездил через Пруссию. Он всегда много рассказывал о своих впечатлениях, возвращаясь из такой поездки «за границу», восхищаясь устройством немецких хуторян и с интересом изучая все то, что считал полезным привить у нас. И многое из виденного и передуманного послужило ему основой при проведении им земельной реформы много лет спустя.

Раз в год папа объезжал и остальные наши земли. В своем Казанском имении мама бывала до замужества, но из нас никто нигде там не был, и знали и любили мы только Колноберже.

Папа тоже очень любил Колноберже: он там проводил лето еще мальчиком со своими родителями, которым с первого же раза, как они туда приехали, понравилось имение.

Дед мой, Аркадий Дмитриевич Столыпин, был флигель-адъютантом Александра II, а затем свиты генерал-майором. В это время вышло распоряжение императора, что свитские генералы, при производстве в генерал-лейтенанты, не зачисляются в генерал-адъютанты, последствием чего был уход в отставку трех старших генералов свиты, в том числе и Аркадия Дмитриевича.

Желая жить неподалеку от так полюбившегося ему Колноберже, дед мой купил себе дом в Вильне, где семья стала проводить зиму и где мой отец учился в гимназии, которую там и кончил.

Когда началась в 1877 году война с Турцией, Александр II проезжал через Вильну, где Аркадий Дмитриевич встречал его на вокзале. Увидя его в придворном мундире, государь сказал:

– Как грустно мне видеть тебя не в военной форме.

– Буду счастлив ее надеть, ваше величество, – отвечал дедушка.

На это император сказал:

– Тогда надень мои вензеля. Поздравляю тебя с генерал-адъютантом и назначаю тебя командовать корпусом действующей армии.

Дедушка оставил по себе память в Восточной Румелии, где он очень отличался и во время военных действий, и при управлении краем русскими, занимая должность генерал-губернатора этой области.

Бабушка моя последовала за мужем на войну и заслужила бронзовую медаль за уход за ранеными под неприятельским огнем.

Бабушку Наталью Михайловну Столыпину помню я очень смутно, больше по рассказам, так как скончалась она, когда мне было четыре года. Дедушку же, Аркадия Дмитриевича, помню отлично: я очень его любила. Высокий, стройный и худой, всегда бодрый, веселый и общительный, он мне очень нравился своей жизнерадостностью. С самого малолетства я с

огромным удовольствием слушала его шутки, смотрела чудные фокусы, которыми он меня забавлял, и играла с ним в разные игры. Но больше всего забавляло меня покурить из его трубки. Это было, когда он уже жил в Кремле, комендантом которого он был последние шесть лет своей жизни. После обеда мы подходили благодарить дедушку, пока взрослые, еще сидя за столом, пили кофе, и он давал каждой из нас покурить из своей длинной трубки, касавшейся пола, которую приносил ему лакей к кофе; и как раскатисто смеялся он, когда мы, вместо того, чтобы тянуть дым в себя, что есть мочи дули в отверстие трубки.

Занимал дедушка в Кремле огромные апартаменты с целым рядом больших, пустых, неуютных гостиных. В конце же анфилады был его кабинет, где он всегда и сидел. Там было все красиво и, несмотря на очень большой размер комнаты, очень уютно.

Одна из комнат была музыкальным салоном. Дедушка, будучи хорошим музыкантом, с увлечением играл на своем Страдивариусе, сам писал музыку и раз у себя дома поставил целую оперу, «Норму», прошедшую с большим успехом. Была у него и студия, где он занимался скульптурой и часто подолгу там работал.

Очень дедушку огорчало, что никто из его детей не унаследовал его способностей к музыке. Он надеялся, что может быть, эти способности скажутся во внуках, и я, как сейчас, помню, как дедушка сидит за роялем, левой рукой обнимает меня за талию, а правой берет одну ноту за другой и велит мне спеть ее. Но я так немилосердно фальшивлю, что он безнадежно машет рукой и говорит:

– Ну, видно, надежды нет и ты вроде своего отца и дяди.

И рассказывает, что, когда мой отец был маленьким, зашел как-то за столом разговор о том, что он абсолютно ничего в музыке не смыслит и что никогда он даже не оценит выдающееся музыкальное произведение. Вдруг раздается обиженный голос моего отца:

– Вы ошибаетесь: мне третьего дня очень понравился прекрасный марш.

Дедушка и бабушка с радостью переглядываются: слава богу, наконец!

– Где ты его слышал этот марш? Это когда ты был в опере?

– Нет, в цирке, когда наездница прыгала через серсо.

После этого дедушка уже не пытался развивать слух своего сына.

Его брату, Александру Аркадьевичу, по просьбе дедушки, стал пробовать голос сам Антон Рубинштейн, но после первого же опыта воскликнул:

– Ну, действительно, вам медведь на ухо наступил!

В спальне у дедушки стояла огромная клетка с массой самых разнообразных птиц, которые будили его своим пением с восходом солнца. Это дедушка очень любил.

Но не только в Кремле помню я дедушку. Помню его и в Петербурге, где он одно время жил, и в Колнобереже, где он нас навещал. Приезжал он всегда неожиданно. Страшно любил устраивать сюрпризы. А раз было даже так: мама и папа гуляют в Ковне по бульвару и вдруг видят – едет дедушка на извозчике. Не веря своим глазам, они останавливаются, а дедушка громко и весело им кричит:

– Только что приехал на два дня, остановился у Левинсона (лучшая гостиница того времени – *М. ф. Б.*), сейчас еду к вам.

В Колнобереже он тоже раз приехал на «завирухе» – еврее-извозчике, развозившем путешественников по окрестностям станции Кейданы. Этому же «завирухе» принадлежали крытые «балагулы», в которых он развозил бедных евреев, причем там было два класса: первый внутри телеги, второй же – «ноги на двор»: евреи сидели свесивши с телеги ноги, за что платили лишь три копейки вместо пяти.

В 1898 году мы довольно долго гостили у дедушки в Кремле, когда приезжали в Москву на свадьбу сестры моей матери, Анны Борисовны, с Сергеем Дмитриевичем Сазоновым, тогда секретарем нашего посольства в Лондоне, впоследствии министром иностранных дел. Венчались они в дворцовой Кремлевской церкви, куда был ход прямо из помещения дедушки. Папа

оставался в Ковне и приехал лишь за два дня до свадьбы, не желая отлучаться на более долгий срок из-за службы. Кроме того, родители не хотели оставлять на продолжительный срок мою трехмесячную сестру Олечку на одну кормилицу и няню.

В день приезда папа мы пошли с дедушкой покупать для нас игрушки. О дне приезда папа никто точно извещен не был. Проходя Спасские ворота, мы увидели опережающего нас на извозчике папа. Он нас узнает, снимает шляпу весело машет и кричит: «Папа!» Дедушка, как-то растерянно повернувшись ко мне, спросил меня, кто это. Я видела, что дедушка был не уверен, папа ли это и хотел слышать от меня подтверждения радостной догадки и, когда я подтвердила, что это папа, он пошел вдруг скоро, скоро к дому, и тут первый раз в жизни показался он мне стареньким. Всегда он ходил бодрым ровным шагом, с военной выправкой и казался мне почти таким же молодым, как папа.

Вскоре после этого дедушка Аркадий Дмитриевич скончался от заворота кишок, промучившись целые сутки. Доктора говорили, что лишь его богатырский организм смог вынести такие страдания так долго.

По необъяснимой небрежности телеграфных чиновников в Кейданах, три телеграммы – о том, что дедушка заболел, что положение его безнадежно и что он скончался, – были нам в Колноберже доставлены одновременно, и мои родители уже не застали его в живых. Весь день до отъезда на поезд я почти не видела папа, не выходившего из своего кабинета, а вечером, когда я пошла к нему проститься, он меня обнял и сказал:

– Какая ты счастливая, что у тебя есть отец.

И я увидела, что все лицо его было мокро от слез.

По возвращении моих родителей из Москвы мама много рассказывала про похороны, очень многолюдные и торжественные. Помню, что великий князь Сергей Александрович сказал: «C'est un des derniers grands-seigneurs que nous enterrons aujourd'hui (Мы сегодня хороним одного из последних Вельмож.)». Помню также, как много говорили о Льве Николаевиче Толстом в связи с кончиной дедушки.

Толстой был другом дедушки, был с ним на «ты», но не только не приехал на похороны, но даже, после кончины дедушки, ничем не высказал своего сочувствия. Когда ему кто-то об этом заметил, он ответил, что мертвое тело для него ничто и что он не считает достойным возиться с ним, причем облек свое объяснение в такую грубую форму, что я не берусь его повторить дословно.

Дедушка рассказывал, что, бывая у Толстого в Ясной Поляне, часто разговаривал о нем с мужиками. Один из них показал свои сапоги, поясняя, что их сам граф сшил, и на вопрос дедушки, хороши ли они, ответил:

– Только в них и хорошего, что даровые, а так совсем плохи.

Впоследствии, когда мой отец был уже председателем Совета Министров, Толстой неоднократно писал ему, обращаясь, как к сыну своего друга. То он упрекал его в излишней строгости, то давал советы, то просил за кого-нибудь. Рассказывая об этих письмах, мой отец лишь руками разводил, говоря, что отказывается понять, как человек, которому дана была прозорливость Толстого, его знание души человеческой и глубокое понимание жизни, как мог этот гений лепетать детски беспомощные фразы этих якобы «политических» писем. Папа еще прибавлял, до чего ему тяжело не иметь возможности удовлетворить Льва Николаевича, но исполнение его просьб почти всегда должно было повести за собой неминуемое зло.

Бабушка, Наталья Михайловна Столыпина, рожденная княжна Горчакова, была известна своим умом и добротой. Она была второй женой дедушки, бывшего адъютантом у ее отца, наместника Польши, брата канцлера. Когда дедушка решил просить у князя Горчакова руки его дочери, произошел забавный инцидент. Он выбрал для этого время после своего доклада и, собрав бумаги, начал:

– Ваше сиятельство, теперь у меня еще есть...

Но Горчаков недовольно перебил его:

– Нет, я устал, довольно, завтра доложишь.

И бедный дедушка сконфуженно ретировался, в ожидании более удобного случая.

Когда мы были в Варшаве, папа меня свез в замок «Лазенки», где девицей жила его мать, и передавал мне на месте рассказы о великолепных праздниках, которые там давал ее отец; с иллюминациями на озере, театральными представлениями в парке и т. д. Рассказывал он мне тоже анекдот о том, как мой прадед за столом, во время большого обеда, сказал кому-то из гостей:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.